
Алена ДАЛЬ

РАССКАЗЫ

В рассказах Алены Даль, написанных удивительно легким, ясным и живым языком, всегда сочетаются интересный сюжет, напряженность повествования и наличие свойственной именно лучшим образцам русской литературы сверхзадачи: показать читателю мир под иным углом зрения — в авторском преломлении. Да, этот мир жесток: он пытается человека «расчеловечить», угасить в нем живую душу то рутиной утомительной повседневной несправедливости, то — экстраординарными драматическими ситуациями, то — просто усыпляющим и разрушающим личность эгоизмом. Но если человек в любых обстоятельствах противостоит этой духовной энтропии, то тем самым он доказывает, что существование его не ограничивается бытовыми обстоятельствами и временными рамками, но имеет смысл и некий высокий замысел, который нужно и возможно реализовать наперекор всему. Это и делают герои рассказов Алены Даль, без всякой назидательности и пафоса как-то очень естественно утверждая именно оптимистичность трагедии каждой самой обычной жизни и возможность ее выхода в поистине космическую бесконечность.

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ

ВАРЕЖКА (цикл «Люди»)

Изабелла Петровна была женщиной умной, образованной, всеми уважаемой. Природа не обошла ее ни красотой, ни талантами. Ей никто не давал больше шестидесяти, хотя она давно переступила порог восьмого десятка. Но до сих пор закрашивала седину, держала гордо спину и не выходила из дому без яркой помады на губах.

Изабеллу Петровну ценили в трудовом коллективе, где она проработала двадцать пять лет, дослужившись до начальника отдела. При выходе на пенсию вручили путе-

Алена Станиславовна Даль родилась и проживает в Воронеже. Прозаик и публицист, член Союза писателей России. Публиковалась в литературных изданиях: «Роман-газета», «Москва», «Литературная газета», «Наш современник», «Подъем», «Север», «Петровский мост», «Бельские просторы», «Нижний Новгород», «Эдита» (Германия) и многих других. Автор книг «Хождение по Млечному Пути», «Живые души», «Жизнь начерно». Участник нескольких литературных сборников и альманахов. Лауреат Германского международного конкурса «Книга года», финалист премий им. Абрамова «Чистая книга», им. Левитова, им. Куранова, конкурса «Яблочный Спас», неоднократный лауреат международного конкурса «Русский Гофман», обладатель приза читательских симпатий конкурса «Есть только музыка одна» и других литературных наград. Автор курса лекций «Книги и социум», программы «Письменные практики». Участник книжных выставок, литературных и культурных фестивалей.

НЕВА 11'2024

ку в Сочи (между прочим, не каждый пенсионер НИИ удаивался такого подарка — в ходу были часы да уютги).

Изабеллу Петровну всегда окружали подруги, среди которых были и весьма выдающиеся. Например, оперная певица Регина Калмыкова, с которой они познакомились в санатории. Изабелла Петровна много лет ходила потом в музыкальный театр по контрамарке, сидела на приставном стуле и знала наизусть весь репертуар. Или взять диктора рижского телевидения Эмилию Сергеевну, которая дружила с женой Раймонда Паулса. Однажды Эмилия пригласила Изабеллу к себе в гости, в Ригу на католическое Рождество, пообещав познакомить с маэстро, но некстати прорвало батарею, и поездку пришлось отменить.

Изабелла Петровна прекрасно читала стихи, особенно любила декламировать под рояль. Однажды с поэмой «Мцыри» она выиграла городской конкурс чтецов, была награждена почетной грамотой и билетом в Останкино на запись «Голубого огонька». Видела своими глазами Льва Лещенко и Софию Ротару. Полдня пила шипучку, слушала выступления и по команде ассистента кидала серпантин. После записи в Останкине были Третьяковская галерея и ГУМ. Словом, культурная жизнь Изабеллы Петровны была яркой и насыщенной.

Вот только с дочерью не повезло. И в кого только такая уродилась? Не иначе, в отца, в светлаковскую их породу. Дочь Таня с детства была дерзкой и колючей. Прекрасным не интересовалась. На лицо — так себе, носатая в отца да в тетку Дусю, глаза — дедовы, от Изабеллы только волос густой достался, да и то поседела рано, как и все Светлаковы. Краситься дочь не умела, на просьбы матери замазать прыщи огрызалась. Одевалась как придется. Не было в ней ни женского шарма, ни грамма кокетства. Правда, училась всегда на одни пятерки, а потом важные посты занимала — хоть чем-то можно было гордиться Изабелле Петровне. Зато гонору у Татьяны! Все всегда делала по-своему, наперекор ей. А в последние годы и вовсе отвернулась — не звонит, не заходит, не интересуется ни здоровьем, ни культурной жизнью матери. Как чужая. Впрочем, чужой она стала еще раньше, когда стала заступаться за отца — неотесанного невежу, с которым промаялась Изабелла Петровна без малого полвека. А как помер отец — так и вовсе замкнулась на все замки, будто и нет у нее родной матери.

Изабелла Петровна развернулась в кресле и, не вставая, достала с полки новый сборник кроссвордов. Щелкать кроссворды было ее любимым развлечением. Именно в этом занятии открывалась вся глубина ее эрудиции, вся мощь незаурядной памяти. Ну и о медицинских показаниях она не забывала: ведь известно, что интеллектуальная деятельность вроде разгадывания кроссвордов — отличная профилактика болезни Альцгеймера и прочих проявлений старческого слабоумия. Покойный муж отмахивался от ее советов — и вот результат: на склоне лет стал нелюдимым, как бирюк, не спал по ночам, заговаривал сам с собой да людей в парке пугал своими ужимками. Хоть кол на голове теши! Но теперь тесать кол было не на ком.

Не успела Изабелла Петровна вставить шестым по горизонтали слово «телефон», как аппарат на тумбочке громко затрещал.

— В филармонию пойдешь? — с ходу спросила Нина, ее товарка по культпоходам. — Мне Светлана Игоревна четыре билета обещала.

— Разумеется, — Изабелла Петровна никогда не отказывалась от возможности бесплатно насладиться классической музыкой. — А кто еще идет?

— Марина с мужем, — ответила подруга.

— Так он же у нее глухой на оба уха и после инсульта еле ходит? — удивилась Изабелла Петровна.

— Да, знаю. Но говорит, только с ним или не пойдет вовсе. Слушай, а может, Татьяна своей предложишь?

— Таньке-то? Что ты — ее не дозовешься, она занятая! К матери дорогу совсем забыла, — размотав шнур и уютно устроившись в кресле, Изабелла Петровна оседлала любимую тему. — Начинаю рассказывать ей что-то, а она только «да» или «нет». Все некогда ей. Как про отца заговорю — так и вовсе «кошки в дыбошки». И за что мне такое мучение? Вот уродилась-то дочка — врагу не пожелаешь! У всех дети как дети, а у меня... — она закатывала глаза и переносилась в ту самую весну с бескровным небом и тонкими стебельками бледных тюльпанов, зажатых в руке Толика.

«Белла, Беллочка, рыжая белочка, — бормотал он, узнав о случайной беременности. — Оставь ребеночка, я буду лучшим отцом в мире!» Стоял на коленях, умолял, плакал, обещал звезды с небес, только бы Белла аборт не делала. Уговорил. Оставила. И что? Полюбуйтесь, что получилось! Вся жизнь после этого пошла наперекосяк. Звезд Изабелла Петровна от мужа так и не дождалась — да и что ждать от неудачника? Поспешно расписались, пока не было заметно живота. А летом сыграли свадьбу, в деревне, у Толиковой родни. Ну как свадьбу? Нагнали самогонки, закололи поросенка. Поставили под старыми яблонями столы, настелили лавки да посуду по соседям собрали. Гармонь и бубен. Вот и вся свадьба. Из гостей — Толикова мать, сестра Дуська и Лешка, деревенский сосед, он же свидетель. С Беллиной стороны, кроме дядьки и нескольких институтских подруг, никого не было. Зинаиду Николаевну Белла не пригласила принципиально. Она и матерью-то ее перестала называть, как только узнала, что та ей и не мать вовсе, а так только опекунша. Понятное дело, опеку взяла под напором мужа-фронтовика — родного Беллиного дядьки. Своих детей у них не было. Но паспорт с чужой фамилией, выданный на совершеннолетие, все расставил по местам. Обида на Зинаиду Николаевну, тлевшая долгие годы, получила документальное обоснование, обросла новыми колючками. После выпускного Белла собрала чемодан и уехала учиться в Куйбышев. Не писала — да и с какой стати писать чужим людям? Вернувшись, поставила перед дядькой вопрос ребром: или я — или она (имея в виду мачеху). Дядька долго решал, но так ничего и не решил. Умер от старой фронтовой раны за месяц до родов. Сразу после похорон Зинаида Николаевна молча перебралась к сестре, оставив квартиру молодым. И Белла стала считать себя отныне сиротой.

Ровно в середине зимы родилась Тата. Дурацкое прозвище, данное дочке мужем, выводило Изабеллу из себя. Еще больше злила его внезапная нежность к малышке. «Таня», — поправляла она, туго пеленая крикливую, худосочную девочку с оттопыренными ушами. Но Толик лишь улыбался, стелил в коляску стеганое одеяльце и уходил со своей Татой в парк. Белла дулась, но недолго. Ставила пластинку Вивальди, наряжалась перед зеркалом, утягивая шелками располневшую фигуру, со вкусом красила ресницы и шла с незамужними подругами в «Шоколадницу».

Дочь росла гадким утенком — худой и нескладной. Вечно сутулилась, за что частенько получала от Беллы хлесткие напоминания по острым, торчащим вразной лопаткам.

— Девочка должна ходить гордо, нести себя, как хрустальную вазу! — наставляла Изабелла, показывая на себе пример правильной, горделивой осанки.

Но Тата, упрямец, стоило только матери отвернуться, снова вжимала голову в плечи и плелась на полусогнутых ногах во двор, играть в классики. Или запрется у себя в комнате с книжкой и ничего не слышит — не дозовешься! А иной раз глянет исподлобья — чисто тетка Дуся, аж оторопь берет! Если бы Изабелла Петровна только зна-

ла, что в роду у Светлаковых есть психбольные, — ни за что бы не поддалась на уговоры Толика. Но что теперь говорить!

Однажды, когда Татьяна еще училась в институте, Изабелла Петровна взялась как-то разбирать ее письменный стол. В нижнем ящике среди старых конспектов обнаружила тонкую пачку перехваченных резинкой писем. Все они были адресованы отцу, когда тот лежал в больнице с сердцем. Дрожа от нетерпения, мать вскрыла первое, что попало под руку, и сразу наткнулась на приторное сюсюканье: «Дорогой папочка, — писала дочь, — ты, главное, ни о чем не волнуйся. Я тебя очень люблю. Тетю Дусю я обязательно навещу...» — и все в таком же духе. Остальные письма полны были тех же слащавых признаний. И это писала Танька, от которой слова доброго не дождешься! К тому же выяснилось, что она знает не только с психической Дуськой, но и с Зинаидой Николаевной, тайком шляясь к той в гости. Выходит, отец со своей родней и чужая бабка ей дороже родной матери?!

Изабелла хотела порвать письма, но взяла себя в руки. Затаила обиду. На дочь за то, что та, оказывается, способна на телячьи нежности. На мужа, которому они достаются. На их общую тайну, существовавшую помимо нее, на подпольное чувство — незаслуженное, неправомерное, неподвластное ее воле. Уж она-то себе цену знала! Но отчего-то эти двое не считались с ее самооценкой. И вообще ни в грош ее не ставили! Следом накатила обида на судьбу за все унижения, предательства, за неоцененную ее жертвенность. Изабелла Петровна почувствовала себя горько и подло обманутой.

Когда вернулся с работы Толик, первым делом потребовала объяснений у него. Но тот лишь привычно махнул рукой и отправился на кухню чистить картошку. Через десять минут на плите зашкварчало, он вышел розовощекий, миролюбивый — видно, где-то уже приложился! — полез обниматься и признаваться в любви.

Танька — та, наоборот, зыркнула зверем и заперлась в комнате. Ни слова не сказала в свое оправдание. Но после этого ни разу Изабелла Петровна не могла отыскать ни листочка личного. А потом и вовсе появились компьютеры, и Татьянина жизнь стала для нее непроницаемым черным ящиком. Впрочем, дочь никогда не отказывала матери в ее просьбах о помощи — отвезти, привезти, купить, забрать — это пожалуйста. Но делала все без огонька, бесчувственно, точно робот. А Изабелле Петровне требовалась любовь. И дочерняя нежность, положенная ей по праву кровного родства.

Несколько раз Татьяна писала матери письма. Но Изабелла Петровна на них не отвечала. «Что толку? Зачем связываться с больными людьми?!» — думала она, читая торопливые, плачущие навзрыд строки. Совершенно же ясно, что подобный бред мог написать лишь человек не в себе. Танька таковой и была. Как и папаша ее на старости лет. Видимо, Дуськины гены как-то передались по кривой в Толиков род. Эх, природа-мать!

Лишь культура, книги и интеллектуальное общение спасали Изабеллу Петровну от скуки и примиряли с несправедливостью судьбы. Да еще сериалы по телевизору, уносящие в дальние дали, да кроссворды, да подруги, которым в любое время можно было рассказать о своем сиротстве, о постылом муже, отнявшем лучшие годы ее жизни, о Танькиной неблагодарности. Тем и утешалась.

В третьем часу ночи зазвонил телефон. Изабелла Петровна убавила звук телевизора и, путаясь в полах халата, поспешила в коридор. Кто бы это мог быть в такой час?

— Не спишь? — спросил глухой, отдаленно знакомый голос.

— Кино смотрю, — механически ответила полуночница. — Кто это? — рука, сжимающая трубку, дрогнула.

— Белла, ты что, не узнаешь меня? — удивился собеседник по ту сторону провода.

— Нет, — пробормотала женщина.

— Беллочка, ну хватит притворяться! Лучше скажи, ты уже придумала имя?

— Какое еще имя?! — вспыхнула Изабелла Петровна. — Что за глупый розыгрыш? Прекратите немедленно! Кто вы? Если сейчас же не представитесь — сообщу в полицию! — приклеенное к трубке ухо уловило издевательский смешок.

— Пожалуйста, если ты забыла — напомним: Анатолий Григорьевич Светлаков! — отрапортовал ночной абонент. — Белла, ну хватит дуться! Лучше скажи — как назовешь нашу дочку? Я уверен — это будет девочка! Такие красивые мамы должны рожать только дочек!

— Никакой дочки не будет! Ты меня обманул! Ты любишь ее больше, чем меня! — взревела Изабелла Петровна. — Сволочь! Предатель!

— Что ты такое говоришь, Беллочка! Как я могу ее любить больше тебя?! Ее же нет! И потом, я никого никогда не смогу полюбить больше, чем тебя!

— Врешь, скотина! Смог! Смог! — вопила в трубку Изабелла Петровна. — Поэтому ее не будет! Никогда!

Телевизор сам собой прибавил громкость, и по квартире разлилась ария Ленского из «Евгения Онегина». В стену заколотили. Изабелла Петровна швырнула трубку и, распаленная, кинулась к висящему в простенке зеркалу. Оттуда на нее смотрела медноволосая красавица с узкими монгольскими глазами. Шелковый халат разметался над круглым животом. Из кромешной тьмы, сгустившейся позади медноволосой, выступил Толик — но не тот молодой, только что говоривший с нею по телефону, а старый — со впалыми щеками, небритый, в больничной пижаме. Он улыбнулся пустым ртом и тянул к ней уловатые руки: «Белла, Беллочка, рожая белочка...»

Изабелла Петровна вскрикнула и проснулась. Села, тяжело дыша, выпрастывая из-под себя перекрученный халат. Телевизор работал на полную мощь. Нащупав пульт, она погасила экран и некоторое время сидела в тишине. Потом встала и пошла на кухню, шаркая тапочками.

Часы показывали пять тридцать. Мысли путались. Гудели трубы. Засохшая ветка царапала оконное стекло. Окно было таким мутным, что наступление дня Изабелла Петровна угадывала по звукам. Раньше окна мыл Толик. Еще раньше — Зинаида Николаевна, но очень давно, когда Белла еще в школе училась. Когда ж это было? Десять, двадцать, сорок лет назад? А форточка уже тогда заедала...

Изабелла Петровна вдруг с ужасом поняла, что теряет память. Свою феноменальную память, которой так гордилась. Она давно забыла, сколько ей лет, есть ли у нее дочь, или она так и не родила ее вопреки уговорам Толика? Жив ли муж, лежит ли снова в больнице? В какой? Или она похоронила его? Когда? Где?.. Вопросы беспокойно металась в ее голове, натываясь на глыбы выученных наизусть поэм и арий, на словари, либретто, афоризмы, имена греческих богов и памятные даты. Одно она помнила наверняка: жизнь была несправедлива к ней. Судьба не сложилась — и в этом были повинны другие люди. Те, которых она так и не могла ни вспомнить, ни забыть.

Утро прокралось в кухню воробьиным гамом, дребезгом первого трамвая и шарканьем метлы. Серая кухня чуть выцвела и поголубела. Изабелла Петровна поставила чайник, включила радио — по «Маяку» передавали хабанеру из «Кармен». Под финальные аккорды арии в замочной скважине послышался скрежет ключа, на пороге появилась женщина с седой челкой. «Из собеса», — догадалась Изабелла Петровна. Раз в две недели она приходила к ней, приносила лекарства, кроссворды, оплаченные кви-

танции. Изабелла Петровна не помнила, когда и как записывалась на социальное обслуживание, но раз положено по закону — пусть приходит. Правда, она давно собиралась написать заявление, чтобы прислали кого-то еще вместо этой странной, так поющей на Дуську сотрудницы. Только не знала, как это сделать.

Выложив из сумки пакет с лекарствами и свежую стопку кроссвордов, женщина засучила рукава, взяла в кладовке ведро с тряпками и встала перед кухонным окном.

— Мыть собралась? — сурово спросила Изабелла Петровна.

— Помою, — кивнула женщина. — А то совсем света белого не видно.

— Ишь ты, не видно ей, — пробурчала под нос хозяйка, но возражать не стала. Да и кто еще согласится мыть ей окна бесплатно?

Она взяла брошюру с кроссвордами и пошла поближе к телевизору. Там как раз «Час оперетты» по каналу «Культура» должен начаться. А то эта сейчас раскроет окно — сквозняк будет.

Окно было старым, тугим, из окаменевшего дерева, с натеками многолетней краской — сейчас такие редко встретишь. Сползшая с петель узкая форточка так часто смазывалась маслом, что совсем перестала вмещаться в проем и болталась, как ей вздумается. Только загнутый уголок гвоздик мог урезонить ее в ветреную погоду.

Незнакомка спустила на пол буйный куст алоэ с жесткими колючками на увядших листьях, сложила в раковину разнокалиберные чашки с отколотыми ручками, треснутые миски, пустые контейнеры, заполонившие широкий подоконник. Сняла прогорклую штору, смела веником сухие листья, хлопья пыли и паутины. Она попыталась открыть окно, но шпингалет намертво врос в вековой слой краски. Форточка дрожала в ответ на жалкие потуги расшевелить раму. Пришлось воспользоваться молотком. Женщина ударила по шпингалету и стучала до тех пор, пока не выбила его из гнезда. Дернула ручку изо всех сил, еще раз — створка с треском распахнулась, прыснув сухой краской. Между стекол, среди желтой ваты, тополиного пуха, слюдяных крыльев мотыльков и прочей трухи обнаружилась... старая, свалывшаяся vareжка. Уборщица отложила ее на край стола и продолжила сражение с окном. Вторая рама поддалась легче. Обнажился ржавый отлив в голубином помете.

Женщина энергично вспенила воду и принялась слой за слоем смывать вековую грязь, помогая себе скребком и щеткой. Вода стекала мутными ручьями на предусмотрительно подстеленную клеенку. Ошметки птичьего помета, липкой паутины летели в мусорное ведро. Несколько раз менялись ведра, тряпки. В ход шли газета и напатырь. Широкий подоконник оттирала пастой в несколько заходов. Наконец осталось лишь вытереть насухо стекла и вернуть створки и шпингалеты в первоначальное положение. Женщина работала неистово, в каком-то обреченном иступлении. Когда работа была почти завершена — оставалось только закрыть окно, — налетел ветер и чуть не сдул худую, нескладную фигуру работницы в оконную пасть, но та успела схватиться за раму. Рама скрипнула, но удержала ее вес.

— Развела тут сквозняки! Простудить меня хочешь? — раздался недовольный голос, и на пороге кухни появилась Изабелла Петровна с карандашом и кроссвордом в руках.

Старуха зажмурилась от яркого до боли света, хлынувшего сквозь вымытое окно. Закрыла лицо руками, а когда отняла ладони, взгляд ее упал на старую vareжку, лежащую на краю стола. Изабелла Петровна хотела было выругаться на то, что работница всякую дрянь на стол кладет, но вместо этого неожиданно всхлипнула. Нахмурила брови, намереваясь предъявить претензии, но не смогла вымолвить ни слова. Подбородок ее задрожал. Карандаш выпал из рук.

«Мама Зина», — выдавила она, и слезы полились из ее глаз. Она вспомнила все об этой varejke с уродливой снежинкой. Как мама потеряла вторую в парке, когда катались с горки. А уцелевшую приспособила под прихватку. Как брала этой varejкой чугунную сковороду и ловко вставляла ее в форточку, чтобы поскорее остудить слишком горячий ужин. Как пришила к varejке петельку для удобства — так можно было вешать ее на крючок. Изабелла Петровна всхлипывала, как в детстве, когда однажды мама долго не забирала ее из садика, и казалось, что она уже никогда не придет за ней. Вспомнила поминутно тот день — пыльный и душный, толстые пальцы паспортистки, документ с чужой фамилией и виноватые глаза матери. Как объявила ей бойкот, промолчав три недели, не проронив ни слова. Только отцу, разжалованному в дядю Сашу, позволяла пару-тройку дежурных фраз. Как придумала называть неродную мать по имени-отчеству — Зинаидой Николаевной. Как вздыхал от этой перемены дядя и хватался за сердце. В памяти всплыли их письма в Куйбышев, ни одно из которых не было удостоено ответа — так велика была обида. Изабелла Петровна видела себя, как в зеркале: вот она вернулась домой, гордая и независимая, с красным дипломом. А спустя полгода познакомилась с Толиком. Вспомнила, как запретила маме появляться на свадьбе. И ее глаза — сухие и обреченные. Долгие-долгие годы она отталкивала мать, находя тысячи причин и объяснений... И еще она вспомнила, что Толик сумел уговорить ее не делать аборт. И что родилась девочка, как и хотел муж.

Изабелла Петровна медленно перевела взгляд с varejki на вжавшуюся в стенку незнакомку.

— Таточка! Дочка! — и упала без чувств.

Когда спустя месяц Изабеллу Петровну выписали из больницы, она не помнила ни одной поэмы, ни даже самого короткого стихотворения, не угадывала название опер и не могла завершить ни одного афоризма. Кроссворды ушли в прошлое, ибо семьдесят процентов словарного запаса было безвозвратно утрачено. Сериалы перестали интересовать Изабеллу Петровну, потому что каждый раз она сбивалась с сюжетной нити и не помнила имен героев. Подруги, видя такие перемены, сами собой отпали.

Зато Изабелла Петровна теперь помнила главное. Что у нее была мама Зина. Что был муж Толик, который полвека преданно ее любил и, пожалуй, любит до сих пор, раз так часто является во сне. Только теперь он не мучает ее расспросами, а просто улыбается в зеркале. Изабелла Петровна знает наверняка: у нее есть дочь Тата — и совсем неважно, кто она и какая. Главное, что это Тата.

ШТОРМ

Сигнал бедствия капитан Петренко получил без пяти минут шесть. Загрузившись в Буэнос-Айресе зерном до Портленда, балкер прошел без происшествий почти пятьсот миль. Этот контракт получился длинным — девятый месяц без семьи. Пора домой. Хотя где теперь его дом?..

Риторические вопросы никогда не нравились Петренко. Тем более сейчас, когда от него требовалось другое: спасти людей, оказавшихся один на один со стихией. Это был невыблемый долг моряка, морской закон, стоящий выше всех прочих кодексов и правил.

— Вас понял, — ответил капитан по радиации бразильской спасательной службе. — Меняю курс. Расчетное время подхода — два часа.

— Поторопитесь, — попросили в трубке. — Судно полностью потеряло управление. На борту восемь человек экипажа и два пассажира.

Петренко бросил взгляд на монитор — до линии шторма тридцать миль.

— Сделаю все возможное.

Он отключил рацию и нажал кнопку судовой связи.

— Внимание! Говорит капитан корабля, — раздалось из динамиков. — Судно экстренно меняет курс. В тридцати милях на юго-восток от нас терпит бедствие парусный катамаран «Немо» под флагом Кипра. Экипажу приготовиться к форсированному ходу и спасательной операции.

Согласно морской практике, капитан обращался к команде на английском: в экипаже помимо русскоязычных моряков были филиппинцы и поляки. Вся команда слаженно, без лишней суеты приступила к ее выполнению.

Вот уже пару лет, уходя в рейс, Андрей Кузьмич Петренко всякий раз думал, что это в последний раз. Морская выслуга позволяла ему в любой момент сойти на берег. Но море не отпускало. Да и переезд семьи в другую страну требовал финансовых вложений.

Одесса, где он отучился в высшей мореходке, за тридцать лет сильно изменилась, превратившись из яркой, шумной, веселой морячки в строгую, сухую старуху с поблекшими, заплаканными глазами. Особенно состарили ее последние годы. Сыновья ее разругались насмерть, брат пошел на брата, и она — мать — ничего не могла с этим поделать...

Когда Петренко был курсантом ОВИМУ, никто даже в самом страшном сне не мог представить, что такое возможно. В роте с ним учились ребята со всего Союза. Белые лайнеры на причалах Морвокзала, украшенные флагами всех стран, белые кители капитанов, белые чайки, одинаково крикливые во всех портах мира... Когда они сидели с другом Фролом (Сергеем Фроловым) у пирса той весной 1991 года, перед защитой диплома, спорили лишь об одном: кто первый станет капитаном. Оба мечтали распределиться в ЧМП. И никто из них не подозревал, что Черноморское пароходство так скоро прекратит свое существование. И что капитанский пост им придется зарабатывать при других обстоятельствах. Да что об этом вспоминать... Где, интересно, сейчас Фрол? Жив ли? — некстати подумал Петренко.

К нему подошел вахтенный штурман.

— Кэп, есть связь с катамараном, — и протянул рацию.

— Говорит капитан балкера «Юнион». Находимся примерно в восьми милях от вас. Идем полным ходом. Уточните ваши координаты.

На том конце трубки назвали цифры. Петренко понял, что катамаран сносит в сторону, в глубь циклона.

— Что с судном?

— Рулевая коробка вышла из строя. «Ухо» отломилось. Судно неуправляемо.

— Ясно. Есть пострадавшие?

— Серьезных — нет.

— Ладно. Держитесь, ребята! Мы идем. На связи.

И только закончив разговор, Петренко понял только, что английский язык, на котором шли переговоры, был для чужого моряка, как и для него самого, иностранным.

Балкер «Юнион» выжимал свой максимум — пятнадцать узлов. Старпом держал связь со спасательной службой Бразилии. Стало ясно, что их судно — ближайшее

к терпящему бедствие катамарану. Несмотря на это, по координатам выдвинулись для подстраховки еще два корабля — греческий танкер и порожний сухогруз под флагом Панамы.

Окончательно рассвело. Петренко продолжал напряженно всматриваться через бинокль в линию горизонта. Вскоре он увидел хорошо знакомую фиолетовую кромку циклона. Зыбь усилилась. Но груженный балкер крепко держал курс.

Снова ожила рация.

— Говорит капитан «Немо», — раздалось в трубке.

— Слушает капитан Грант! — не удержался от шутки Петренко. — Я тоже люблю Жюля Верна.

— Нам не до шуток. У нас еще одна проблема: обнаружена течь, — сообщили с катамарана. — Пытаемся остановить, но трещина большая.

— Извини, дружище, — произнес капитан, — полчаса продержитесь. Входим в зону шторма. Скоро будем.

«Юнион» с разбегу воткнулся в ватную гущу соленого тумана. Однако волны немного сгладились, присмирели. Петренко знал это явление штормовой «передышки», когда между двумя актами бури случается «антракт», резко ухудшающий видимость, но дающий возможность приблизиться к тонущему кораблю. Этот «антракт» мог длиться полчаса или час, но неизменно завершался еще большим штормом.

— «Немо», как слышно меня? — крикнул в трубку Петренко.

— Капитан «Немо» слушает, — голос на том конце был уставшим, но спокойным.

— Видимость очень плохая. Включите все огни. По координатам мы близко.

— Уже включили. Ждем.

— Что у вас с течью?

— Устранили. Справились, слава богу! — последние два слова капитан катамарана произнес на русском.

Услышав родной язык, Петренко с облегчением вздохнул. Он понял, что они успели вовремя и теперь все будет хорошо. В тумане проступили пятна сигнальных прожекторов. Взыла сирена.

— Вижу ваши огни, — перешел он на русский.

— Я тоже вижу вас, «Юнион».

В этот момент сверху хлынул дождь. Серая стена воды встала между кораблями. Зыбь усилилась. Это означало, что «антракт» скоро закончится и, выплакавшись, буря грянет с новой силой. Оба капитана понимали это.

— «Немо», нас сильно раскачало, — произнес Петренко. — Шлюпки спустить не сможем. Подойдем кормой с подветренной стороны.

— Вас понял, «Юнион». Готовы принять концы.

Балкер медленно развернулся, стал носом к волне и попятился кормой к катамарану. А потом, прикрывая «Немо» от ветра, прижался правым бортом. Среди дождя и тумана проявились, словно на черно-белой фотографии, фигуры людей. На палубах обоих кораблей стояли вымокшие насквозь моряки и глядели друг на друга. Этот взгляд длился одну минуту, а может быть, вечность... Те, кому случалось терпеть бедствие в открытом море, кому хоть раз приходилось прощаться с жизнью среди бушующих волн океана, — тот знает цену этому взгляду. Это взгляд внезапно обретенной надежды. Символ того, что это еще не конец и жизнь дает тебе шанс все исправить.

С палубы балкера полетели концы, их поймали матросы катамарана. Корабли тесно прижались друг к другу. Началась спасательная операция.

Закрепив на стропах ценный груз, быстро перебросили его на «Юнион». Матросы с двух сторон тянули канаты, но волнение усиливалось. Для переброски людей оставалось полчаса, не больше. Сначала к страховочным стропам привязали поочередно двух пассажиров и переместили на палубу балкера. Теперь борта кораблей бились друг о друга сильнее, терлись и скрежетали. Моряки «Немо» один за другим прыгали на трап, ловя подходящий момент. С каждым разом делать это становилось все труднее и опаснее. Один человек сорвался вниз — матросам балкера пришлось буквально выдернуть его из бездны. Минутой позже — и его раздавило бы между бортами.

Капитан катамарана, еле удерживаясь на ногах, поправил крепление буксировочного троса. Он надеялся спасти корабль.

— Эй, капитан, поторопись, — крикнул в мегафон Петренко.

Тот махнул рукой и защелкнул на поясе карабин страховки. Катамаран раскачивался на волнах все круче, не оставляя шанса уцепиться за трап. Правым бортом «Немо» нырнул в воду и подпрыгнул. Время шло на минуты.

— Даю малый вперед, теряем управляемость! — объявил Петренко. — Сможешь на ходу?

— Буду пробовать. Другого выхода нет!

Капитан Петренко до рези в глазах следил за движениями хрупкой фигуры, столь слабой и уязвимой в сравнении с яростной мощью стихии.

Когда между бортами образовалась пара свободных метров, капитан «Немо» выкрикнул:

— Вира! — и, оттолкнувшись, прыгнул в бездну.

Матросы балкера синхронно дернули спасательные концы — моряк уцепился за нижнюю перемышку трапа. Подтянулся, ухватился обеими руками. Из последних сил стал карабкаться вверх, подтягиваемый страховочными тросами. И вот наконец, перевалившись через борт, рухнул на палубу. В этот самый момент катамаран развернуло.

Капитан Петренко вдруг сорвал с головы капюшон и упал на колени возле чудом спасенного моряка. Он не поверил своим глазам.

— Фрол! Ты, что ли?! — схватил за грудки обмякшее тело.

Спасенный разлепил мокрые веки и слабо улыбнулся.

— Он самый... Петрак?!

— Я.

Капитан «Немо» пошевелил рукой и, скривившись от боли, отключился.

— Во вторую каюту его! — скомандовал Петренко на ходу, взбегаая на мостик. — Остальных тоже разместите и окажите первую помощь.

В рубке он задал рулевому курс и взял в руки микрофон судовой связи:

— Внимание! Говорит капитан корабля. Спасательная операция завершена. Все моряки «Немо» приняты на борт, продолжаем буксировку катамарана. Судно следует в порт Рио-Гранде. Экипажу приступить к своим обязанностям по судовому расписанию.

Петренко посмотрел на часы — от момента получения сигнала SOS до объявления прошло восемь часов. Доложив в спасательную службу Бразилии, уведомив капитанов судов, страхующих операцию, он оперся спиной о стену рубки и прикрыл глаза.

Балкер «Юнион» натужно резал волну, упрямо выбираясь из шторма. На буксире болтался обессиленный катамаран «Немо». Все люди спасены — это главное. Толь-

ко сейчас Петренко почувствовал нахлынувшую усталость. Выполнив главное, организм отключил режим мобилизации и позволил себе заявить о слабости и боли. Это нормально.

Гораздо труднее было отключить другое — неустанные, изнуряющие мысли о войне. И унять другую боль, привычно вонзающую в сердце ржавую, с зазубринами иглу. Сын Тарас — погибший и непогребенный — вставал перед глазами: улыбающийся, машущий рукой, обещавший вернуться. И навеки не выполнивший своего обещания. Капитан Петренко сжал кулаки и зубы. Ничего не исправить.

В ту весну Андрей Петренко через знакомых переправил жену с дочкой из Одессы под Полтаву. А потом переселил еще дальше — в Варну. Курская родня жены, узнав, на чьей стороне воевал сын, принять их отказалась.

Капитана Петренко грызло еще одно: пропасть, разделившая их с сыном в последние годы. Сначала он списывал все на извечную проблему отцов и детей. Потом понял, что не только это. Сам он дома бывал редко — все старался семью обеспечить, рейсы не выбирал, менял суда, не глядя продлевал контракты. И упустил что-то важное. Когда пришел в очередной отпуск — сын уже говорил исключительно на мове, усмехался над отцом, когда тот его не понимал. Начал делить людей на украинцев и москалей. А потом...

В дверь каюты постучались.

— Капитан «Немо» просит о встрече, — доложил вахтенный матрос-филиппинец.

— Пригласи! — распорядился Петренко.

Неожиданно его охватило волнение. С Фролом они не виделись десять лет. Последний раз встречались в Одессе на юбилее Мореходки. Столько воды утекло с тех пор. И столько крови пролилось...

— Разрешите? — на пороге стоял Сергей Фролов, его сосед по курсантскому кубрику, лучший друг, почти брат. Рука его была перевязана. Мокрые волосы примяты набок.

— Проходи, садись, — Андрей Петренко кивнул на кресло. — Документы принес? — спросил, лишь бы заполнить возникшую вдруг пустоту.

— Да. — Фролов вытряхнул из папки судовые документа, паспорта.

— Что с рукой?

— Да так, ерунда.

Петренко раскрыл наугад синий паспорт моряка. Фролов Сергей Петрович. Гражданин России.

— Давно под кипрским флагом ходишь? — поднял бровь.

— Давно. Восемь лет.

Разговор не клеился. Формальные вопросы, задаваемые капитаном экипажу спасенного судна, казались плоскими, казенными.

Капитан Петренко отодвинул документы в сторону.

— Слушай, к черту бумаги! Давай так: расскажи, как ты прожил эти десять лет. А я тебе расскажу. Можем же мы поговорить как старые друзья? Ну, или как новые враги... — взгляд Петренко зачерствел.

Он поднялся к шкафу, вытащил из бара бутылку рома и два квадратных стакана. Плеснул на дно каждого, подвинул один гостю.

— Ну что — за встречу? — предложил торопливо.

Фролов молча кивнул. Они клацнули стеклянными гранями и выпили.

— Хороший ром, — похвалил гость. — А водка есть?

— Горилка есть, — усмехнулся Петренко.

— Давай! — согласился Сергей.

Он сам разлил здоровой рукой по стаканам новый напиток.

— Вот теперь за встречу! — и, зажмурившись, выпил.

Жидкость обожгла горло, растопила сковавший грудь лед. Он разглядел в черством взгляде спасшего его капитана знакомые мальчишеские черты.

— Как жил, говоришь? — задумчиво произнес Сергей. — По-разному жил. Старался жить честно. Даст Бог, поживу еще. Спасибо! — он поднял глаза на Петренко. — Тебе я обязан жизнью.

Андрей хотел что-то ответить, но вместо этого сморщился и со злостью плеснул по стаканам.

— Поживем еще, да... — взгляд его стал свинцовым, чужим. — Но не все... — губы капитана побелели и задрожали. — Сына моего помянем — Тараса Петренко, — он с такой силой сжал в руке стакан, что тот едва не треснул.

В его глазах Фролов прочел слепую ярость, увязанную смиренной рубашкой обстоятельств. Не утолимую ничем боль, гневный упрек, адресованный лично ему — русскому моряку, другу юности, который сидит сейчас напротив, и пьет с ним, и благодарит за спасение.

— Тогда и моего помянем, — глухо добавил Сергей, сглотнув шершавый ком. — Ивана Фролова.

Петренко поднял на него усталые глаза:

— Там? — хрипло спросил, сомкнув на переносице брови.

— Там, — еле слышно ответил друг.

Моряки выпили и надолго умолкли.

Качка прекратилась. Шторм остался далеко позади. Ровный гул мотора смешивался со слабым треском судового динамика. Кто-то забыл отключить рацию.

Смерть сыновей будто уравнивала их в горе, в нестерпимой, ничем не оправданной и не имеющей оправдания потере... И в праве жить дальше. И говорить об этом друг с другом, бесслезно оплакивая своих детей.

Когда на горизонте показалась береговая линия Бразилии, два капитана — Фролов и Петренко — знали друг про друга все: кто где работал, куда ходил, кого потерял, чего лишился... Разделившие их десять лет спрессовались в три часа, промелькнувшие как три мгновения. Но вместившие в себя много больше судовых журналов, официальных бумаг, казенных рапортов...

Граница их стран, превратившись в огненный рубеж, опалила их судьбы, обожгла семьи. Остались головешки, которые предстоит разбирать и разбирать не одному поколению. Но дружба их уцелела и высилась теперь над руинами прошлого, как печеная труба среди пожарища. Как маяк, вернувший надежду на спасение...

Жизнь двух моряков — русского и украинца — просолилась и выпарилась, оставив самую суть — соленый концентрат, пересыщенный раствор горя и боли. Чьего горя больше? Чьей боли? Не измерить, не взвесить...

Здесь, среди суровых, бесстрастных волн Атлантики, их боль сплавилась воедино. Их отдельные горькие судьбы слились в общую трагедию отцов, оставшихся вопреки всему друзьями, но потерявших ставших врагами сыновей...

В порту Рио-Гранде моряков ждали. Как только экипажи «Юнион» и «Немо» ступили на берег, их окружила толпа журналистов. Заморгали вспышки. Заработали камеры.

— Если бы вы знали, что под флагом Кипра работает российский экипаж, стали бы их спасать?

— Отражаются ли международные санкции на Конвенции по морскому праву?

— Вправе ли суда под российским флагом рассчитывать на помощь украинских моряков?

— На каком языке вы общались на борту «Юнион»? О чем говорили?

— Это правда, что вы учились вместе в Одессе?

— Вы говорили о политике, о войне?

— Смогли бы вы работать в одном экипаже?

Ни Петренко, ни Фролов не проронили ни слова. Ни один вопрос журналистов не был удостоен ответа. Оба капитана не хотели разменивать на слова то, что возникло между ними в тот день. А через пару часов, уладив формальности, ударили по рукам, обнялись крепко и разошлись как в море корабли...

...И вновь за бортом тревожно шумят волны. Угрожающе ревет океан. Коварные течения толкают корабли на скалы. Густеют на горизонте тучи, гремят шторма. И кажется, весь мир — это безумный корабль с терпящим бедствие человечеством на борту...

И снова летит в эфир отчаянный сигнал SOS! Спасите наши души! И кто-то вновь придет на помощь. А как иначе? По-другому и быть не может... Об этом вам скажет любой моряк.

СКРИПКА

Обычно в музыкальную школу Таню водила бабушка Зина, но мама поссорилась с ней и велела ехать самой. Сесть на трамвай номер пятнадцать, выйти на остановке «Верхняя», а там пристать к общему потоку детей и идти с ними. Девочка так и сделала.

Школа встретила ее привычной какофонией звуков, дощатым музыкальным полом и портретами бородатых композиторов вдоль узкого коридора. Таня отзевала скучную теорию музыки, написала на пятерку диктант по сольфеджио и без запинок сыграла «Анданте» Гайдна, заслужив от Ларисы Андреевны благодарность в дневник. Теперь мама непременно ее похвалит, немного полюбит, а может быть, даже обнимет!

Дорога домой всегда короче. Таня запрыгнула в трамвай и стала смотреть на пробегающие за окном дома. Дома были старые, с облупившимися барельефами по фасадам. На них плечом к плечу теснились военные с мячами в руках, играющие на скрипках сталевары, колхозницы с книгами, балерины в окружении флагов и колосьев. Всякий раз, проезжая мимо каменных картин, девочка спрашивала бабу Зину: «Почему у военных в руках мячи, а не сабли, сталевары со скрипками, а балерины со снопами?» Та только пожимала плечами и теснее прижимала внучку к просторному, теплому боку. Мама же объясняла путаницу с предметами культурным развитием, одинаково необходимым и военным, и рабочим с колхозниками, а уж тем более интеллигенции. Что такое «интеллигенция», Таня не вполне понимала, спросить стеснялась, но смутно догадывалась, что и ее походы в музыкальную школу были продиктованы маминым замыслом культурного развития. И она готова была этот замысел воплощать, и быть культурной, и играть на скрипке, и получать одни пятерки — лишь бы только мама ее любила...

Люди входили и выходили из трамвая, заскакивали в закрывающиеся двери, сползали с подножек, волоча за собою сетки с грязной, похожей на земляные комья кар-

тошкой. Подсаживали детей и старушек, выносили коляски, заталкивали под сиденья сумки и узлы. Жалостно тренькал звонок, с шипом раскрывались и закрывались двери гармошкой, громыхали на стыках рельсы.

Сумерки приглушили очертания домов и стерли барельефы. Сталевары опустили скрипки и с недоумением рассматривали гибкие смычки, застрявшие в заскорузлых, негнущихся пальцах. Мячи выпали из рук военных и покатались в сторону решающих уравнения футболистов. Колосья и флаги опали — освобожденные балерины радостно закружились в фуэте...

— Остановка «Дворец Тельмана», следующая остановка «Сквер», — голосом диктора объявила вагоновожатая.

Таня вздрогнула и вскочила на ноги.

— Стойте, стойте! — закричала она на весь вагон. — Это моя остановка. Я забыла!

Она помчалась к выходу, куда уже вползала угрюмая вечерняя толпа. Девочка зацепилась ногой за чью-то сумку и больно ударилась коленкой о поручень. Но плакать было некогда — Таня пробиралась к двери, преодолевая сопротивление неизвестно откуда взявшихся людей.

— Подождите, не трогайте состав! Там девочка не вышла, — раздался с передней площадки бас.

Трамвай дернулся и застыл.

— Как тебе не стыдно, девочка, всех пассажиров задерживаешь, — прошипела ей вслед тетенька в дымчатом берете.

— С кем не бывает! — вступился другой пассажир.

— Эй, ты че прешь по ногам, как по паркету! — чей-то острый локоть ткнул Таню в бок.

Было тесно и жарко. Ранец с нотами колотил по мокрой спине. Лента развязалась и застревала в людской трясине, цепляясь за пуговицы и застёжки. Но вот и спасительный выход. Девочка кубарем скатилась со ступенек, двери с лязгом захлопнулись за ее спиной. Трамвай медленно пополз по черным, маслянистым рельсам. А Таня осталась стоять, умиряя дыхание, остужая разгоряченное борьбой лицо. Потерла рукой ушибленное колено. Поморщилась. Но колготки целы — это хорошо. Другой рукой на лету подхватила выскользнувшую из косы ленту и запихала в карман. Рук было непривычно много. Одна из двух обычно занята.

— Скрипка! Моя скрипка! — пронзило Таню.

Ее скрипка осталась в трамвае. Проспав свою остановку, продираясь к выходу, она совсем о ней забыла. И скрипка осталась под креслом и уехала вместе с пассажирами, наверное, уже далеко. Что теперь будет? — с ужасом подумала девочка, и слезы полились по щекам горькими ручьями. Она знала, как дорожила мама этим инструментом, купленным с рук у дяди Вити — скрипача филармонического оркестра. Как долго искала она заветную четвертушку, как охотилась за кленовым корпусом. Как перетягивали потом смычок и дядя Витя битый час подгонял инструмент к угловатой Таниной фигуре, соразмеряя ее сутулость и скрипичное совершенство. Еще и новый футляр с фланелевым подбоем! И канифоль, и запасные струны, и бархатная подушечка, сшитая на заказ. Беда!

Девочка застыла, не зная куда идти — то ли домой, то ли прочь от дома. Если домой — то попадет, это точно. Если прочь — то куда? Разве что к бабушке Зине? Но Таня плохо помнила ее адрес, знала только, что жила бабушка в двухэтажном доме, называемом бараком, в левом подъезде со скрипучей лестницей, под которой всегда лежал на подстилке очередной бездомный кот. Но где стоял тот двухэтажный дом?

Кажется, неподалеку была детская горка. Таня запомнила ее потому, что на боку горки нарисован играющий на скрипке кузнечик. Но нарисован неправильно: не так держал скрипку, и смычок короткий и не натянут, как следует, и струн-то пять, а должно быть четыре. К тому же кузнечик был левшой, а Таня сомневалась, можно ли играть на скрипке левой рукой?

Вечерняя мгла сгустилась. Девочка удрученно брела в сторону сквера, позади которого толпились старые бараки. Было страшно. Но не оттого, что вокруг ночь и темнота, а оттого, что не знала она, что говорить теперь маме про скрипку. Как рассказать о пропаже? Чем объяснить свою преступную забывчивость? Простит ли ее мама? Улыбнется ли, сказав безобидное: «Эх ты, Маша-растеряша»? Или будет кричать весь вечер, вспоминая папу и бабушку Зину? Как назло, и папы нет — уехал.

Между бараками было еще темнее, чем в сквере. Единственный на весь двор фонарь освещал огромную лужу, в центре которой утонула старая шина. Чуть дальше маячили мусорные баки, остов дивана. Морщинистый тополь, стена ветхого сарая и... — вот же она! — горка! Та самая с кузнечиком на скрипке. Таня перевела дух и улыбнулась. Нашарила глазами подъезд, оттянула тугую пружину и вошла в дом. Острый кошачий запах ударил в нос, но перебился ароматом свежих булочек с корицей, какие могла печь только бабушка Зина. Девочка поднялась по лестнице и нажала кнопку звонка. Шаркающие шаги — и дверь распахнулась.

— Таточка, — всплеснула руками бабушка, — что стряслось? Как ты меня нашла? Почему одна? — она обхватила внучку выпачканной в муке рукой и увлекла за собой в прихожую.

Таня держалась до последнего, чтобы сказать все по-взрослому — рассудительно и спокойно, но не выдержала и расплакалась, припав к теплой бабушкиной груди.

— Я, я... — всхлипывала она, — я скрипку в трамвае забыла!

— Скрипку? В трамвае?

— Да-а-а! — уже в голос ревела Таня.

— О, господи! — вздохнула баба Зина. — Я думала, что-то случилось, — она подняла за подбородок заплаканное лицо внучки, и Тата поняла, что бабушка на нее ничуть не сердится. — С тобою все в порядке? Дома все хорошо?

Девочка кивала, размазывая по щекам слезы.

— Ну-ну, хватит реветь, — бабушка гладила девочку по растрепанной голове тыльной стороной ладони, но мука все равно осыпалась на воротник. — Подумаешь, скрипка!

Тане на миг показалось, что скрипка никуда и не пропадала, а стоит сейчас за нею, на полу, прямо на полосатом коврикe. Девочка покосилась назад, но скрипки там не было.

— Мама-то знает, что ты здесь? — спохватилась баба Зина.

— Нет.

— Ах, незадача. Ладно, я сейчас тебя отведу, — бабушка схватила Танины ладошки в свои большие, горячие от духовки руки. — Ой, да ты совсем замерзла. Так, сначала греться! Марш на кухню! — скомандовала она и решительно стащила с внучки куртку.

На маленькой бабушкиной кухоньке было тепло и уютно. Тикали ходики. В тесной площадке громоздилось голенастое растение со смешным названием «золотой ус».

Баба Зина спрятала тесто, вымыла руки и поставила на плиту чайник. Перед Таней появилась любимая тарелка с зеленым ободком, доверху наполненная пленительно золотистыми булочками. Сладкий дурман корицы плыл над столом.

Бабушка выгатила из тяжелого узла на затылке гребень и принялась расчесывать им спутанные волосы внучки. У нее это получалась совсем не больно. Мама обычно

торопилась, злилась на непослушные Танины косы, то и дело выдергивала волосинки. Таня ойкала, а мама злилась от этого еще больше. Бабушка скользила по волосам легко и плавно, будто ветерок обдувал голову. Если же встречался узелок, крепко зажимала его между пальцами и терпеливо распутывала. Пока вскипал чайник, Танина коса приняла первозданный утренний вид. Только банты баба Зина не умела завязывать так красиво, как мама. Но Тане этого и не требовалось.

— Ну-ка давай грейся! — бабушка поставила перед девочкой чашку с чаем и подвинула ближе тарелку с булочками.

Ничего вкуснее Таня никогда не ела. Булочки были маленькие, на два укуса, сверху — карамельно-хрустящие, с коричневыми узорами, а внутри мягонькие, как пух. Бабушка не торопила, а только глядела и глядела на внучку тихо, недвижно, с грустью, а может, с жалостью — Таня не очень-то разбиралась в лицах.

— Наелась, Таточка? — спросила баба Зина, когда Танины щеки зарумянились. — Я тебе сейчас с собой в мешочек положу. Маму угостишь, папу.

— Не хочу уходить, — насупилась Таня. — Бабуль, а можно я у тебя останусь?

— Таточка, мама волноваться будет. Она ведь не знает, где ты, — бабушка сняла фарук.

— Не пойду! — упрямылась Таня. — Я боюсь, боюсь! — твердила, вцепившись в табуретку.

— Чего ты боишься, Тата? Еще не так поздно. Я тебя провожу, — бабушка, кряхтя, надевала шерстяную кофту.

— Как я маме про скрипку скажу? — в глазах девочки снова заблестели слезы.

Бабушкины булочки с чаем оттеснили сегодняшнюю трагедию. Но теперь неотвратимость разговора с мамой выросла перед ней вновь.

— Я сама ей все объясню, — пообещала бабушка. — А завтра с утра в депо схожу. Там есть уголок забытых вещей. Никуда не денется твоя скрипка. Небось уже лежит там и ждет, когда за ней придут.

Бабушка с внучкой оделись и вместе вышли в уютную вечернюю мглу.

По дороге баба Зина рассказывала про танцы под духовой оркестр в этом самом сквере, куда она бегала еще девчонкой. И даже рассмешила Таню описанием одного танцора, который, чтобы казаться выше, подкладывал под пятки сложенные газеты, а во время летки-енки они возьми да вывались! Ботинки-то были отцовские, на два размера больше, чем надо.

Вот и дом. Чем выше поднималась Таня по крутым ступеням, тем медленнее переставляла ноги и тем сильнее вжимала голову в плечи. Даже бабушка Зина обогнала ее, хотя дважды останавливалась отдышаться.

Мама стояла в проеме двери — красивая и неприступная.

— Ты где шляешься? — взгляд ее был суров и непреклонен. — Ты знаешь, сколько сейчас времени? Занятия закончились два часа назад!

— Погоди, Белла, она у меня была, — вступилась за внучку баба Зина.

— Зинаида Николаевна, я вас не спрашиваю! — еле сдерживая ярость, ответила мама. — Я дочь свою спрашиваю — пусть сама учится отвечать за свои поступки, — она схватила девочку за рукав куртки и рывком втащила в дом.

Баба Зина проворно нырнула следом.

— Где ты была? Отвечай!

— У бабушки, — испуганно пролепетала девочка.

— Да у меня она была, у меня! — в сердцах воскликнула баба Зина. — Скрипку в трамвае забыла. Переживает очень.

— Что-о-о? Скрипку? — закричала мама. — Переживает? Да вы посмотрите на нее — не переживает она, а издевается надо мной! Ты знаешь, сколько я за эту скрипку отвалила? — мамино лицо исказилось и стало неузнаваемым. — Знаешь, сколько ждала, пока дяди-Витин сын вырастет из нее? Как волновалась, чтобы эту скрипку Гриневы не увели? Да что я говорю! Кому я говорю! — Белла развернулась вихрем и бросилась прочь, в глубь квартиры.

Бабушка скинула боты, начала суетливо раздевать Таню, но девочка вырвалась и побежала вслед за матерью.

— Мамочка, я, я, я...

— Что ты якаешь, как ишак? — оборвала ее женщина. — Слушать противно. Глаза б мои на тебя не глядели! Непутевая, вся в отца.

— Ничего, ничего, она сейчас остынет, — шептала бабушка, переобувая окаменевшую Таню в тапочки. — Ты на нее не обижайся, наверное, на работе устала.

— Беллочка, не волнуйся! Я завтра прямо с утра пойду в депо, верну скрипку, — баба Зина изо всех сил старалась восстановить мир в семье. — Только прошу тебя, не ругай Тату, она ведь нечаянно, она ребенок, — добавила тихо, чтобы не слышала внучка.

— Носитесь все со своей Татой как с писаной торбой! Хоть бы кто меня пожалел! Сколько сил я в нее вложила, сколько труда, заботы. А она, неблагодарная...

— Но это всего лишь скрипка. Кому она нужна? Найдется!

— Что за чушь вы несете! — нервно рассмеялась Белла. — Всего лишь скрипка, говорите? Да эта скрипка... она стоит... Если Таньку не ругать, она и голову свою потеряет! — женщина решительно затянула пояс халата. — Вот что: отправляйтесь-ка вы лучше домой, Зинаида Николаевна! Как-нибудь сама разберусь, как свою дочь воспитывать. Без вашей помощи. Вы свое уже отвоспитывали!

Она схватила бабу Зину за пальто и, не дав опомниться, выставила за дверь.

Таня стояла возле окна, грызла ногти и зверем косилась на мать. Глаза ее сухо блестели.

— Зачем ты бабу Зину прогнала?

— Тебя не спросила!

— Она хорошая.

— Да у тебя все хорошие, только я плохая! — взвизгнула мама. — Вот умру — поймешь тогда, кто хороший, кто плохой, — она упала в кресло и прикрыла глаза.

— Не надо, мамочка, — Таня затряслась в беззвучных рыданиях. — Не умирай! Я найду скрипку!

— Да где ты ее теперь найдешь, дура? Ее кто-нибудь умный уже нашел. А тебе отец пусть в комиссионке дрова покупает — будешь на них пиликать!

— Я все равно на «отлично» год закончу. Обещаю! — не сдавалась Таня, глотая слезы. — И «Полонез» Огиньского разучу!

— Учи, — равнодушно ответила мама и ушла на кухню.

Таню тряхнуло, потом еще раз. Ноги подкосились, и она упала на пол. Закричала, забилась, заплакала, замолотила руками. Ее боль была так нестерпима, что девочка не могла дышать. Воздух входил и выходил из нее только с криком. Только сбитые до крови костяшки пальцев помогали переносить муку. Баба Зина ушла. Если б папа был дома, он бы обнял ее и увел в другую комнату. Он сказал бы, что все пройдет, все наладится и необязательно играть на скрипке, чтобы тебя любили. Но его не было рядом.

Мама вбежала в комнату с перекошенным лицом. В руках она держала стакан воды и какие-то таблетки.

— На, выпей! — протянула она лекарство, но Таня отбросила ее руку. — Ах, ты так?!

Мама налегла на дочь всем телом, обхватила рукой ее голову и стала одну за другой запихивать сквозь сомкнутые зубы желтые горошины. Дочь брыкалась, но мать была сильнее. Женщина заливала воду в рот дочери. Вода текла по шее и капала на ковер. Дочь хрипела и рвалась. Но таблетки сделали свое дело, и вскоре истерика утихла. Таня обмякла и сидела, привалившись к маминому плечу, всхлипывая и вздрагивая всем телом.

— Все, все, все, — повторяла мама, думая о том, что нужно бы показать дочь хорошему психиатру. А девочка нежилась в лучах этой случайной, недолговечной близости.

Наутро пришла бабушка Зина. В руках она держала Танину скрипку.

— Вот, скрипочка твоя нашлась, целехонькая, — она протянула ее внучке, — как я и думала, в уголке забытых вещей стояла.

Мама выхватила футляр, щелкнула застежками и заглянула внутрь — все цело, даже канифоль на месте.

— Вовремя, — заметила удовлетворенно, — ей к специальности как раз нужно готовиться. Ну, говори «спасибо», что молчишь? — она ткнула Таню в спину. — И выпрямись наконец!

Как же девочке хотелось броситься сейчас через порог к бабушке Зине, прижаться к ее мокрому от дождинок пуховому платку! Как не терпелось сказать «спасибо» не только за найденную скрипку, но и за то, что она просто есть — такая теплая, такая добрая. Похвалить булочки с корицей. Спросить про рыжего кота с порванным ухом. Но рядом стояла мама. И Таня только вымученно улыбнулась, проговорила «спасибо» и поцеловала бабу Зину в холодную щеку.

— Ну все, нам пора заниматься, — сказала мама. — До свидания, Зинаида Николаевна! — и закрыла дверь перед самым бабушкиным носом.

Таня слышала, как вздохнула за дверью бабушка, как пошла вниз, ступая грузно и виновато, как вспомнила на полпути о пакете с горячими булочками в сумке, охнула, хотела было вернуться, да только махнула рукой, не решаясь нарушить хрупкий мир между мамой и Татой. Как шла она по грязной дороге в свой двор с горкой, как заходила в подъезд и трепала за ухом рыжего кота. Потом поднималась к себе на второй этаж, надевала клетчатый фартук, месила тесто и пекла новые булочки...

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Боль была жгучей, казалось, живот вспороли и обожгли изнутри огнем, и теперь этот огонь изливался липкой струей из утробы на мокрый, наждачный асфальт. Сбивший собаку грузовик не остановился, даже не притормозил, скорее всего, шофер и не заметил мягкого удара. Сизая пелена дождя висела над дорогой. Собака с трудом отползла в сторону от визжащих машин, слепящих огней, от железного грохота автострады, спряталась в кустах и приготовилась умирать.

В последние дни она жестоко голодала. Найденные на помойке объедки не спасали от тянущего узла в брюхе, а ведь теперь она должна была есть за шестерых. Собака прикрыла глаза, откинула морду подальше от кровоточащей, пахнувшей парным мясом раны и замерла.

В ее предсмертном забытии возникли одно за другим доброе лицо Петровича, хмурая гримаса Антонины Федоровны, молочная улыбка мальчика. Потом длинная чере-

да угрюмых лиц, занесенная над головой палка, пинки, летящие в спину камни, уютный перегар бомжа, разделившего с ней подворотню. Мысли ее уносились еще дальше — она вспомнила теплое, влажное брюхо матери, набухшие черные соски, колкую травинку на языке. Почувствовала тесную толкотню братьев и сестер, воюющих за право поесть и выжить. И снова прищуренные глаза Петровича, его пахнувшие табачной пылью руки, колючие валенки в осколках льдинок...

Когда она впервые услышала слово «инфаркт», то подумала, что это одна из новых команд. Ее следует разучить, чтобы унесенный на странной доске с ручками хозяин поскорее вернулся. Но хозяин не возвращался. А собака не смогла понять значения новой команды, хотя слышала ее теперь каждый день. В один из вечеров Антонина Федоровна пришла домой с темным, опухшим от слез лицом. Бросила полный ненависти взгляд на уткнувшуюся в тапки Петровича собаку, схватила за ошейник и выставила за дверь. Без поводка. Сама не вышла. Собака потопталась нерешительно возле двери, не понимая, куда можно идти без поводка, да и без Петровича. Когда они гуляли вдвоем с хозяином у реки, поводок был не нужен. Собака и так шла рядом, отвлекаясь лишь на поручение принести палку да по своим мелким уличным делам.

Собака под кустом стала крупно дрожать и погружаться в прекрасное неземное тепло, где утихла боль и откуда звал ее, шевеля седыми бровями, Петрович.

— Посмотри, дышит? — незнакомый голос нарушил вязкую тишину забытья.

Чьи-то руки тронули бок. Острая боль вновь пронзила тело — собака вздрогнула.

— Да она вся в крови, — луч фонарика чиркнул по ране, — но вроде жива, — пальцы на миг замерли на ее шее. — Сейчас что-нибудь принесу, — один из спасателей удалился. Собака разлепила тяжелые веки и, блеснув белками, поглядела снизу вверх.

— Потерпи, миленькая, — женщина осторожно дотронулась до ее макушки.

Люди положили раненую на тряпку и погрузили в багажник. Лязгнула крышка — дождь исчез вместе со звуками. А потом навалилась ночь.

Очнулась собака от того, что пасть слиплась от клейкой слюны. Жажда была такой мучительной, что она готова была пить все что угодно, даже шипучую газировку, которой потчевал ее глупый человеческий детеныш. Собака дернулась, пытаясь встать, но не смогла: нижняя часть туловища онемела.

— Спокойно, девочка, — произнес человек в белом наморднике.

Он подвинул к ее морде миску с водой и осторожно приподнял голову. Собака макнула язык и сделала несколько глотков.

— Вот умница, — похвалил человек. — Наркоз скоро отойдет, и я выведу тебя погулять.

Голос показался собаке смутно знакомым. Но резкий запах лекарств не давал определить наверняка.

На следующий день собака поправилась. С тихой благодарностью ела она неведомый доселе хрустящий корм, дочиста вылизывая крошки, охотно пила. Дважды в день ее выводили в маленький, густо пропахший собачьими экскрементами дворик с чахлыми кустами, и она, пересилив неудобство стягивающей живот попоны, оставляла свои метки среди бесчисленного множества чужих. Неделю спустя собаке сняли швы и отпустили на волю.

— Прости, псина, не удалось тебя пристроить, — сказала женщина с крупными, пропахшими хлоркой руками. — Уж очень ты большая и страшная. Прямо как я, — она невесело усмехнулась. — Теперь уж сама как-нибудь.

Она потрепала собаку за ухом и отстегнула поводок. Псина понимающе лизнула шершавую руку и потрусилась в сторону сквера.

Сытная жизнь, сопряженная с болью, закончилась. Зато наступила весна. Ласковый, пахнувший прелью ветер обдувал впалые бока. Собака ложилась на теплый, покрытый первой шелковистой травкой пригорок и подставляла зудящее пузо под острые лучи солнца. Проплешина на животе быстро зарастала. Спать собака забиралась в тесный закуток между забором и стеной тира. Возле сосисочного ларька она приладилась подбирать объедки, брошенные вечно спешащими людьми. Иногда кто-то кидал ей сам — то кусок сосиски, то куриные кости. Этого вполне хватало. Один, правда, кинул в нее стаканом, но собака успела увернуться. Добрых людей, по ее подсчетам, было больше.

Когда по парку выгуливали домашних питомцев, собака пряталась. Она грустила, зыбко и смутно вспоминая Петровича. В перебранки, вспыхивающие между холеными любимцами и бродячими псами, не вступала. Так прошла весна, а за ней и лето.

Однажды по скверу пронеслась шумная стая незнакомых собак. Были они возбуждены, капали слюной и заходились в безудержном, полном ужаса лае. Собака оцетибилась, но чужаки промчались мимо, не заметив ее. Их клокочущий, переходящий в визг лай долго носился по парку, пока не смолк, заглушенный другими городскими звуками. Собака повела носом по ветру и почуяла в воздухе запах смерти.

На другой день она увидела всю стаю, разбросанную на пустыре возле стройки. И черный лохматый пес в свирепом предсмертном оскале, и недавно оценившаяся коротконогая сука с отвисшим брюхом, и три мелких собачонки, одна — в перламутровом ошейнике с бусиной, — все были мертвы. Собака видела издали, как подъехал фургон и люди в сером, с безразличными лицами побросали собак в кузов. Она слышала глухие удары тел, хриплый кашель одного из грузчиков. Когда тот, сплюнув, бросил случайный взгляд в ее сторону, собака вздрогнула и побежала, с каждым прыжком все быстрее и быстрее. Мимо проносились тронутые ржавчиной кусты, лавки, остовы каруселей. Потом замелькали ноги, сумки, колеса. Однажды резкий визг чуть не оборвал ее бег, но она успела отскочить в сторону. Собака бежала до тех пор, пока не оказалась на обочине шоссе, в том самом месте, где сбил ее ночной грузовик.

Осенние дожди давно смыли ее кровь, но куст, под которым умирала собака, еще хранил еле заметный запах ее боли. Собака долго внюхивалась в помертвевшие травы, в сухие изгибы ветвей и холодную землю, сипло скулила, прощаясь с нерожденными щенками. Наплакавшись вволю, пошла дальше.

Вскоре лапы привели ее в неизвестный поселок, рассыпанный вдоль петляющего русла реки. Дома в нем были разные: рядом с пониженными лачугами высились красивые терема, надежно укрытые заборами от посторонних глаз. Были здесь и брошенные дома. Один из них — густо заросший терном, с заколоченными ставнями и ветхим, в узорах птичьего помета крыльцом — собака выбрала для ночлега. Она устала, стертые об асфальт лапы болели, и не было сил на поиски еды. Полакав из лужи грязной сладковатой жижи, собака протиснулась между сгнившими досками и оказалась внутри. Серый свет струился из прорех в крыше. Пахло плесенью и мышами. Собака нашла сухой угол и, свернувшись клубком, уснула.

Месяц собака обживалась на новом месте. Ночлег — это ладно, но где брать еду? Ни мусорок, ни сосисочных ларьков поблизости не было. В километре, возле школы располагался единственный на всю округу магазин, но всякий раз, когда собака при-

ближалась к дразнящей колбасным запахом двери, изнутри выскакивал грузный, затянутый в камуфляж охранник. Он свирепо щетинил усы, рычал и гнал собаку вон, кидая вслед грозные человеческие ругательства, а иногда и камни. Люди с пакетами шарахались от отошавшей псины, тянули за руку детей.

Самая частая команда, которую слышала она в те дни, была «Пошла вон!». Приходилось подчиняться — поджав хвост, собака трусила прочь по раскисшей дороге, принохиваясь к густому киселю остывающего воздуха.

Однажды ей повезло: к развалинам, где она жила, приехали рабочие. Они долго вымеряли каким-то шнурком землю, спорили, тыкая пальцами в мятый листок, а потом разожгли костер и стали жарить мясо. Собака залегла в кустах и погрузилась в мечты. Она давилась слюной, жадно вбирая носом съедобный дым, прикрывала глаза — но что глаза, когда она чувствует все вслепую. Ее подташнивало от голода, но собака боялась вылезти из укрытия и терпела. Люди смачно жевали мясо, опрокидывали в рот рюмки с веселой жидкостью и громко выкрикивали незнакомые слова: «подряд» и «смета». Начало смеркаться, люди затушили костер и, свалив объедки возле крыльца, уехали прочь. Как только стих рокот мотора, собака выскочила из засады и жадно набросилась на остатки человеческого пиршества. Чего здесь только не было: кости с щедрыми лохмотьями мяса, пропитанные мясным соком хлебные мякиши, комья мятых салфеток с мясным запахом. Все было съедено дочиста.

На другой день люди вернулись и за полдня сровняли с землей собачью ночлежку. Трескучий бульдозер закопал и тайник с заветной, оставленной про запас костью.

Там и морозы подоспели.

Стужа сковала реку и землю. Съехали последние дачники. Опустел магазин. Охранник облачился в меховую куртку, но добрее от этого не стал. Собака неприкаянно бродила по пустынным улицам, шарахаясь от подзаборного лая более удачливых собратьев, обнюхивала мышинные норы, лисьи следы, остывшие кострища... Она ходила на реку в надежде найти свежие лунки, возле которых, если повезет, можно было выгрызть изо льда мелких, забракованных рыбаками ершей и горькие рыбки кишки. Спала бродяга где придется: когда в разметанном стоге сена, когда в сухом валежнике.

Она попробовала прибиться к стае, но ее не приняли — больно покусали, оставив на память глубокую метку на задней лапе. Хромоногая, она стала совсем беспомощной, и если бы не спасительная оттепель, то давно бы отправилась на радуку к Петровичу. А так — кое-как перебилась с оттаявшей помойки. Рана заросла. Зима продолжилась. Морозы вернулись.

Всю свою боль, все одиночество и тоску по хозяину собака изливала в сладостном ночном вое. Поднимала морду к равнодушной маслянисто-сливочной луне и жаловалась ей, терзая звенящую тишину. Ей начинали вторить деревенские собаки, и вскоре округа наполнялась горькими руладами невыплаканных собачьих слез. Каждая плакала о своем: кто об отнятых щенках, кто о цепной неволе, кто о потерянном хозяине и безнадежном собачьем одиночестве...

К февралю собака ослабла. Потеряла интерес к еде. Днем, когда выглядывало скудное солнце, впадала в забытье. Ночью крупно дрожала, тщетно пряча нос в лапы, и ждала, ждала... чего она ждала? — сама не понимала толком. Наверное, встречи с Петровичем.

В тот день ветер, неожиданно сменивший направление, дохнул на нее чем-то давно забытым, теплым и вкусным. Собака тяжело поднялась, опершись на ослабшие ноги, и поплелась против ветра, дрожа и сутулясь. Мокрый компас-нос вел ее туда, откуда

веяло живым, безвозвратно утраченным собачьим счастьем. Пустой дом, еще недавно напрочь лишенный запахов и звуков, вдруг ожил. Будоражащий аромат источала кастрюля. Обычная кастрюля со стеклянной крышкой, снабженной малюсенькой дырочкой, сквозь которую и сочилась надежда. Кастрюля стояла на террасе, прямо на краю — ничего не стоило толкнуть ее, свалить наземь и припасть к горячей жиже. Пусть гонят потом, пусть бьют и кидают камни — сил небось хватит, чтобы убежать! — так думала собака, подбираясь к вожделенной добыче.

Внезапно дверь распахнулась.

— Эй, собака! — окликнул ее женский голос. — Ты чья?

Собака рванула в сторону, как от удара. Она бежала, поджав хвост, путаясь в собственных лапах. Острые осколки наста хрустели стеклом под ногами, острые ребра ходили ходуном под тонкой, обветшалой шкурой. Ветер трепал уши, царапался в груди. Хорошо, что у этого дома нет забора, а не то не унести ей лап. Отбежав на безопасное расстояние, собака оглянулась — женщина глядела из-под ладони вслед беглянке, не сердясь и не ругаясь. Собаке показалось даже, что в человеческих глазах мелькнула жалость.

Хозяйка забрала кастрюлю и скрылась в доме. Но ненадолго — вскоре она вышла с дымящейся миской в руках, спустилась по ступеням и отнесла еду на отшиб, под куст шиповника с яркими, глянцевыми ягодами. Пошарив вокруг глазами, вернулась в дом.

Собака выжидала. И только убедившись, что поблизости никого нет, робко приблизилась к еде. Тот же запах, что из кастрюли! Псина приникла к миске, неуклюже растопырив длинные передние лапы, и начала жадно лакать.

В голове непрощено появился Петрович — он ласково улыбался, шевеля седыми бровями, и ободряюще кивал головой. Собака поняла, что хозяин ничуть не сердится на нее за то, что та приняла еду из чужих рук. Вылизав до блеска миску, она попробовала на зуб облупившийся эмалированный край, но смекнула, что сжевать ее, как картонные тарелки, не получится. Собака бросила благодарный взгляд туда, где только что стояла незнакомка, и поковыляла прочь. Она не знала, что все это время женщина наблюдала за ней из окна. Далеко уходить не стала — куда идти? — дома все равно нет, а переночевать можно и здесь, вот на этой охапке ботвы. Она сыто вытянулась на прелой куче и впервые за много дней перестала дрожать.

Несколько недель женщина выносила миску с горячей едой под куст шиповника и смотрела из окна, как ест отощавшая псина. Потом стала ставить плошку чуть ближе и рассматривала собаку уже не прячась за стеклом.

— Откуда ты взялась такая? — спрашивала она жадно глотающую собаку, разглядывая ее шишковатую голову, длинную морду с крокодильей пастью.

— Не помню, — отвечала глазами та, не отрываясь от еды.

— Где же твой хозяин?

— Не знаю, — вздыхала собака.

— Ну тогда живи у меня! — разрешила однажды женщина, подойдя к собаке ближе обычного.

Собаке очень хотелось понюхать ее руку, но страх пересилил, и она, по обыкновению, убежала в заросли.

После Сретения застучала первая капель. Сугробы начали опадать, а в полдень дымились влажно и густо, точно забродившее тесто. Ночные заморозки оставляли ле-

денцовые латки возле крыльца, которые в полдень превращались в лужицы. Остро запахло весной.

Собака любила наблюдать из-за кустов за хозяйкой дома. Чем выше взбиралось солнце, тем больше времени проводила та во дворе: копала, чистила, мела, переносила с места на место коробки и мешки. Когда женщина уходила, уставшая, домой, собака крадучись подбиралась к только что оставленным ею предметам и жадно принюхивалась то к черенку лопаты, то к ручке тележки. Следы ее рук был сладостными, манящими. Они не походили на привычные, уже почти стершиеся из памяти грубые запахи Петровича, но казались такими же родными. Правда, в последние дни в запах хозяйки примешался след грусти — собака отлично знала, как пахнет человеческая грусть. И улыбаться хозяйка стала реже и печальнее.

Однажды она взялась наводить порядок в палисаде. Начала расставлять вдоль дорожек цветочные горшки — один разбила, другой рассыпала. Уронила лопату, да неудачно: помяла жидкий куст и горевала над ним, трогая сломанные ветки. Все у нее не ладилось в тот день, все валялось из рук. В довершение несчастий — оступилась и подвернула ногу. Вскрикнув, привалилась к штакетнику, осела наземь. Собака вскочила на все четыре лапы и напряглась.

Женщина стянула с головы косынку и заплакала. Слезы капали из ее глаз дождевой россыпью. Плечи вздрагивали.

Чужая боль — такая близкая, такая понятная — обожгла собачье сердце. Отбросив страх, собака подбежала к хозяйке. Она бестолково переступала лапами и заглядывала в полные слез глаза. Она тянула зубами за рукав, пытаясь помочь ей встать. Собака лизала мокрые, соленые щеки, холодные руки, сочувственно скулила и неуклюже приваливалась теплым боком. Она пыталась осушить человеческие слезы, которые все лились и лились из глаз. Собака понимала: дело не в ноге. За пределами собачьего разума лежала беда, которую она не могла ни понять, ни унять. Могла только быть рядом. Рядом...

Женщина порывисто вздохнула, вытерла косынкой глаза и неожиданно улыбнулась. Она положила руку на костистый бок, поросший жесткой шерстью, провела ладонью по горной цепи позвонков. Собака вытянулась в струнку.

— Не бойшься меня больше? — спросила, оглаживая шишковатую голову, мокрый, кожаный нос, дрожащие навесы брылей.

Собака облегченно вздохнула и положила морду на теплые колени хозяйки.

— Останешься со мной?

Вместо ответа собака впервые за долгие месяцы завилыла хвостом.

Женщина оперлась на теплую собачью спину, и вместе они заковыляли к крыльцу. Солнце выпростало из облаков руки-лучи и обняло обеих ласково, по-матерински, венчая все то, что только что произошло между собакой и человеком.

С тех пор они не расставались.